

Одиннадцать сыновей. Франц Кафка

Всего у меня одиннадцать сыновей.

Старший из себя невзрачен, однако это человек умный и дельный; и все же я не очень высоко его ставлю, хоть и люблю не меньше, чем других детей. Его внутренний мир, по-моему, ограничен; он не глядит ни вправо, ни влево, ни вдаль; мысли его движутся по кругу, я бы даже сказал, что они топчутся на месте.

Второй красив, строен, хорошо сложен; глаз не отведешь, когда он фехтует. Да и умом не обижен, к тому же повидал свет; он много знает, и даже родная природа говорит ему больше, чем другим, кто никуда не выезжал. Впрочем, этим своим преимуществом он обязан не столько путешествиям, сколько присущей ему от рождения неповторимой черте, ее хорошо знают те, кто пытается подражать его мастерским прыжкам в воду: несколько сальто на лету, и он ныряет уверенно и бесстрашно. У них же храбрости и пыла хватает лишь до конца трамплина; а там, вместо того чтобы прыгнуть, они вдруг садятся и виновато разводят руками. Но, несмотря на все это (радоваться бы такому сыну), кое-что в нем меня беспокоит. Левый глаз у него чуть меньше правого и часто мигает; не бог весть какой недостаток, он даже подчеркивает присущее моему мальчику выражение неукротимой удали, и те, кому знаком его неприступно замкнутый характер, вряд ли поставят ему в упрек его нервически подмигивающий глаз. Только меня, отца, берет сомнение. Смушает же меня, конечно, не физический недостаток, а угадываемая за ним душевная трещинка, какой-то яд, что бродит в его крови, какая-то неспособность выполнить свое жизненное назначение, очевидное одному мне. И в то же время эта черта особенно нас роднит: это наследственный в нашей семье недостаток, проявившийся в нем с особенной силой.

Третий сын тоже красив, но не радует меня его красота. Это красота певца: отчетливо очерченный рот; мечтательный взгляд; голова, которую хочется видеть на фоне драпировки; чересчур высокая грудь; легко взлетающие и слишком легко падающие руки; ноги, которые скорее выставляются напоказ, чем призваны служить опорой. Да и голосу не хватает полноты; он обманывает лишь на минуту, настораживая знатока, чтоб тут же сорваться и потухнуть. Другой, может быть, стал бы гордиться таким сыном, я же предпочитаю держать его в тени; да и он не склонен привлекать к себе внимание, и не потому, что знает свои недостатки, а по невинности души. Нынешнее время не по нем; родившись в нашей семье, он словно чувствует себя членом и другой семьи, навеки утраченной, и потому часто впадает в уныние, и ничто не может его развеселить.

Мой четвертый сын, пожалуй, самый общительный. Истинное дитя своего века, он каждому понятен, он обеими ногами стоит на земле, и каждый рад обменяться с ним приветствием. Быть может, это общее расположение придает его существу какую-то легкость, его движениям – какую-то свободу, его мыслям – известную беззаботность. Иные его замечания хочется вновь и вновь повторять – правда, лишь иные, обычно они отличаются все той же чрезмерной легкостью. Он напоминает прыгуна, который, плавно отделившись от земли, ласточкой рассекает воздух лишь для того, чтобы свалиться в пыль жалким ничтожеством. Эти мысли отравляют мою любовь к четвертому сыну.

Мой пятый сын – славный и добрый мальчик; он обещал куда меньше, чем выполнил; он был так незначителен, что мы не замечали его присутствия; однако это не помешало ему кое-чего добиться в жизни. Если б меня спросили, как это произошло, я затруднился бы ответить. Быть может, невинности легче проложить себе дорогу сквозь бури, бушующие в этом мире, а уж в невинности ему не откажешь. Он, пожалуй, даже чересчур невинен. Душевно расположен ко всякому. Пожалуй, чересчур расположен. Признаться, я без удовольствия слушаю, когда мне его хвалят. Ведь ничего не стоит хвалить того, кто так заслуживает похвалы, как мой сын.

Мой шестой сын, по крайней мере на первый взгляд, самая глубокая натура из всех братьев. Это меланхолик и вместе с тем болтун. С ним трудно столковаться: малейшее поражение ввергает его в беспросветную грусть, но, одержав верх в споре, он уже не может остановиться, как будто этим словоизвержением надеется закрепить свою победу. Но есть в нем и какая-то самозабвенная пылкость; порой, раздираемый своими мыслями, он бродит среди бела дня, будто в сонном забытии. Он ничем не болен, напротив, завидного здоровья, но иногда шатается на ходу, особенно в сумерки, хотя и обходится без посторонней помощи. Быть может, это от чересчур быстрого роста, он не по годам высок. Красотой он не отличается, хотя многое в отдельности у него и красиво, например руки и ноги. А вот лоб не хорош: не только кожа, но и кость будто какая-то сморщенная.

Седьмой сын, пожалуй, мне особенно близок. Люди не отдадут ему должного: его своеобразное остроумие до них не доходит. Я не переоцениваю своего мальчика, я знаю, он звезд с неба не хватает; кабы люди были грешны только тем, что не оценили по достоинству моего сына, их не в чем было бы упрекнуть. И все же в моей семье этот сын занимает особенное место; он соединяет в себе дух возмущения и уважения к традиции, причем и то и другое, по крайней мере на мой взгляд, слито в нем в единое целое. Правда, он меньше всего знает, куда приложить это целое; не ему дано привести в движение колесо будущего; но в этом его умонастроении есть что-то бодрящее, какая-то надежда и обещание; хотелось бы дождаться от него детей, а от его детей – еще детей. К сожалению, он пока не думает о женитьбе. В какой-то понятной мне, но огорчительной самоудовлетворенности (составляющей великолепную антитезу к мнению окружающих) он вечно шатается один. Что ему девушки? Он и без них не скучает.

Самое большое мое горе – восьмой сын, хоть я и не вижу для этого серьезных оснований. Он смотрит на меня как на чужого, тогда как я крепко, по-отцовски к нему привязан. Время многое сгладило, когда-то я не мог спокойно о нем думать. Он идет своей дорогой; от меня он окончательно отказался; и, уж, конечно, со своим чугунным черепом и небольшим телом атлета – только ноги у него в детстве были слабоваты, но и они, должно быть, со временем окрепли, – он своего добьется. Часто являлось у меня желание вернуть его, спросить, как ему живется, и почему он так вооружен против отца, и что ему, в сущности, нужно, но теперь он от меня так далеко и столько утекло воды – пусть уж все остается по-старому. Говорят, он единственный из моих сыновей отпустил бороду. При таком небольшом росте это вряд ли его красит.

У моего девятого сына изысканная внешность и пресловутый томный взгляд, влекущий женщин. Своими нежными взорами он мог бы и меня зачаровать, когда бы я не знал, что достаточно мокрой губки, чтоб стереть этот неземной глянец. Но самое удивительное в моем мальчике то, что он меньше всего хочет кого-то обворожить. Он рад бы всю жизнь проваляться на диване, расточая свои взоры перед потолком, или, еще охотнее, покоя их под веками. В этом излюбленном положении он говорит много и живо, сжато и выразительно, но

только в известных пределах, стоит ему за них выйти (а это неизбежно при их узости), как речь его становится пустопорожней болтовней. Хочется остановить его нетерпеливым движением, но вряд ли эти сонные глаза способны заметить мой жест.

Моего десятого сына считают неискренним. Я не стану ни целиком отвергать это мнение, ни полностью с ним соглашаться. Но поглядите, как он выступает с несвойственной его возрасту торжественностью в наглухо застегнутом сюртуке и старой, но сверхтщательно вычищенной черной шляпе, с неподвижной миной, выставив вперед подбородок и тяжело опустив веки, а то еще и приложив два пальца к губам, – и вы непременно подумаете: вот законченный лицемер! Однако послушайте, как он говорит! Рассудительно, обдуманно, не тратя лишних слов; раздраженно пресекая все вопросы, в каком-то нерассуждающем, безоговорочном благоговении перед всем существующим – восторженном благоговении, от которого напряживается шея и все тело устремляется ввысь. Немало людей, считающих себя великими умниками, оттолкнула, по их признанию, внешность моего сына, но привлекло потом его слово. Однако есть и такие судьи, которых не смущает его внешность, но именно в слове его они усматривают лицемерие. Я отец, и не мне решать, но не скрою, что последнее мнение для меня более убедительно.

Мой одиннадцатый сын хрупкого сложения. Он у меня, пожалуй, самый слабенький, но это обманчивая слабость; временами он обнаруживает и твердость и решительность, однако и в такие минуты слабость остается его преобладающей чертой. Впрочем, это не постыдная слабость, а то, что считается слабостью на этой нашей планете. Разве не слабость, например, готовность к взлету – тут и зыбкость, и неопределенность, и трепетный порыв. Нечто подобное наблюдаю я и в моем мальчике. Эти черты, конечно, не радуют отца, ведь они неизбежно ведут к разрушению семьи. Иногда он смотрит на меня, словно хочет сказать: «Я и тебя прихвачу, отец!» И я думаю: «Ты последний, кому бы я доверился». А он будто мне отвечает взглядом: «Пусть хоть последний!»

Вот каковы они – мои одиннадцать сыновей.